

Александр КАЗАНЦЕВ

ШКОЛА ЛЮБВИ

Сумбурный роман

И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем
серу и огонь с неба, и ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все
произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась
позади его и стала соляным столпом.

Книга «Бытие»

В чем причина всех бед? Науки любить вы не знали!
Вы не учились, а страсть только наукой сильна.

Овидий «Наука любви»

1. ВСЕ СМЕШАЛОСЬ...

Я всегда знал, что живу не впервые. Вернее, чувствовал. Знание предполагает куда большую определенность: когда жил? где? кем?.. До недавнего времени я не смог бы ответить на эти вопросы. Нечто смутное — неясные тени, расплывчатые миражи-видения — смущало душу явным несопадением с нынешним моим бытием. Будто дышала мне горячо в затылок древность незапамятная, вороса мои густые, жесткие, еще в юности поседевшие с чего-то волосы...

Я всегда знал, что живу отнюдь не впервые. По крайней мере, дважды я уже жил, но это не прибавило мне, похоже, ни радости, ни мудрости.

И нынешнее мое бытие никогда не представлялось мне нераздельно монолитным. Почти всегда я ощущаю рядом два параллельных и, если так можно сказать, абсолютно прозрачных *Я*, которые живут не совсем самостоятельно, повинуются все-таки течению моей жизни, подстраиваясь под нее по-своему: один — лучше меня проживает те же самые ситуации, другой — куда хуже меня действует и поступает... Но это ведь еще с какой стороны посмотреть: лучше, хуже — понятия относительные, сугубо субъективные.

Смех и грех!.. Это я-то о субъективности заговорил? Я, живущий таким «трезубцем», сам порой не понимающий, какой из трех путей верный, какой из них мой? Я, ощущающий вдобавок, что жил когда-то непутовой жизнью библейского Лота и сполна вкусил радости и тяготы судьбы поэта и греховодника Публия Овидия Назона?

Стоп-стоп! Охолонитесь, не спешите искать телефон «психушки». Дюжие санитары с волосатыми руками и властно-вкрадчивый психиатр мне вовсе не нужны. И не только потому, что я тихий. Не только потому, что я сам, как дюжий санитар, скручиваю себя в «смирительную рубашку» приличий. И тем паче не потому, что сам себя самонадеянно считаю «знатоком и повелителем человеческих душ», ведь по этой-то причине как раз и можно бы заподозрить меня в ненормальности...

Беда моя в том, что я нормален.

Абсолютно.

Ну, бывают иногда срывы от перенапряга: кричу, беснуюсь или молча дуюсь — подолгу и глупо. Но — нормален. Великим, из этого исходя, не стану. И, надеюсь, никогда не пополню коллекцию «великих личностей» местной психушки: наполеоны, брежневы, даже иисусы там есть, а вот лотов и овидиев нет и не будет.

Кому-то, может, подумается, что о совершенной нормальности своей я все-таки загнул: не станет, дескать, нормальный человек «книгу о своей жизни» писать... Думайте что хотите, только попробуйте понять, что не подвержен автор этих сумбурных записок никаким маниям, тем более — мании величия.

Не хочу насиловать память, чтобы выудить из ее омута, кто из великих (или не очень) изрек однажды, что каждый, мол, способен написать одну хорошую книгу — о своей жизни. Не хочу еще и потому, что с давних пор втемяшилось мне, что обильное цитирование чужих мыслей — удел посредственностей.

Ага, занесло!.. Ведь давно уже сам понял, что не гений. Далеко! И все мои успехи в стихах и драматургии случайны, недолговечны и, скорее всего, мнимы. Это горько, но правда — жизнь подсказывает...

Вот сижу я за чаем с пузатым Афоней, режиссером, лет пять назад поставившим добротный спектакль по моей первой пьесе. Сидим мы в залитом утренним светом одноместном гостиничном номере — рядовом,

не люксе, разумеется, — с обязательным маловыразительным и слаборазличимым из-за пыли пейзажиком на стене.

Ох, и полезно иногда поднять жизненный тонус крепко заваренным чайком: погуляли, однако!.. Вчера, на ночь глядя, прилетели мы в этот старинный сибирский город на Иртыше, бывший при Колчаке даже «столицей». Приглашены сюда на так называемую «драматургическую лабораторию» — шумный шабаш, собирающий ежегодно еще не маститых драматургов, непоколебимо уверенных в своей маститости режиссеров, а также завлитов и чиновников от театра. Цель сборища — разумеется, дальнейшее процветание театрального искусства...

Афоня вез в Омск в своем выдавшем виды портфеле, ручка которого обмотана синей изоляцией, мою новую пьесу, перед самым отъездом все-таки прочитанную им, наконец. Я смутно предчувствовал, что она ему, мягко говоря, не поглянулась, но он ее не возвращал и ничего не говорил о ней — молчал, как дипломат, находя в этом свои резоны.

Пьеса, в которой попытался я пофантазировать, как зародилась когда-то в древние времена любовь на Земле, лежит в его портфеле, в тесном соседстве с носками, майками и набором «семейных» трусов.

Режиссер и сейчас сидит в преогромнейших трусищах, яркие цветочки на которых только подчеркивают их «семейность». У него теперь такой пунктик появился — в трусах щеголять. Не так давно он поставил с успехом комедию «Фредди», где сам сыграл заглавную роль — гениального клоуна. Вот там и появился впервые в колоссальных трусищах ниже колен и, ободренный реакцией зрителей, стал щеголять в них повсюду. Щеголять, разумеется, на сцене, участвуя в различных театральных капустниках и бенефисах. Такой у него теперь имидж.

Я знаю, что сейчас Афоня станет ругать мою пьесу, вот-вот начнет. Он бы и вчера это с удовольствием сделал, когда летели мы в самолете, да поостерегся. Дело в том, что на драматургическую лабораторию он впервые сподобился быть приглашенным: угораздило его попасть в немилость к патронессе-организаторше, вдохновительнице и самовластной управительнице этого творческого шабаша. Московская театральная львица долго держала его в черном теле — наслышана была о его выкрутасах и грубости. Смягчилась слегка, когда он поставил мою первую пьесу (ко мне она почему-то очень благоволила поначалу), а когда стали доходить в столицу вести об успехе этого спектакля, и вовсе сменила гнев на милость — пригласила Афонию на выездную лабораторию в Омск. Вот тогда он и решил повременить, не разносить до поры в пух и прах мой новый опус, оглядеться и притереться сперва.

Патронессу мы встретили вечером в вестибюле гостиницы. Лобызали пухлые ручки этой величественной министерской дамы, гордо несущей немолодую голову в короне пышных серебряных волос. Со мной она поговорила ничуть не ласковей, чем с Афоней, из чего я однозначно заключил, что посланная мной новая пьеса ей не поглянулась. А толстый спутник мой, конечно, смекнул: не шибко-то она его и жалуется!..

Чтобы как-то реабилитировать себя в глазах Афони, я без промедления ввел его в хмельной круг разномастных, но не маститых драматургов, уже к тому времени разбавленный тремя еще более хмельными режиссерами и завлитшей Ксюшей, медноволосой молодкой из древнерусского города, чему как-то мило не соответствовала ее суперсовременность.

Оказалось, однако, что Афоня в пособничестве моем не нуждался: с тремя хмельными режиссерами он был знаком накоротке, ну а с Ксюшей даже расцеловался при встрече. Драматурги же, молодые и давно уже не таковые, сразу сделали «стойку» перед новым «театральным волком»: расширяется рынок! И, не нуждаясь больше в моем покровительстве, в короткий срок успев изрядно надраться, Афоня, как всегда выпячивая губы, заявил мне, тоже поддатому:

— Пьесу твою, Костя, ставить не стану!

— На тебе свет клином не сошелся, — ответил я с деланным смешком, впервые перейдя с ним на «ты».

А утром все-таки пришел к нему: «Давай чайком опохмелимся». На самом же деле вывести решил: может, не всерьез брякнул вчера Афоня, может, выпендривался слегка?..

Мирно сидим, «опохмеляемся». Гладким бугром вздымается над семейными трусами розовое пузо Афони, блики от граненого стакана бродят по безволосой груди, толстые выпяченные губы, из-за которых он похож на обиженного и рассерженного ребенка, слегка растянуты теперь вполне добродушной улыбкой. И, тихо-мирно растягивая слова, говорит он:

— Ну и дерьмо же ты написал, Костя.

— А ты уверен? — спрашиваю, изо всех сил стараясь сохранить самообладание, и с демонстративно громким пришвыркиванием втягиваю в оскверненное алкоголем нутро крепкий душистый чай.

— Да уж поверь, — голос его стал еще задушевнее. — Я на этом деле не одну собаку съел! — так убедительно это прозвучало, что мне даже представилось, как он терзает беспощадно бедное животное, «другом человека» именуемое. — Эту пьесу твою хрен кто ставить возьмет, помни мое слово. О любви пишешь, а любви-то у тебя и нет — схема голимая. Не пахнет любовью!

Афоня и впрямь повел широкими ноздрями, будто изо всех сил стараясь уловить запах, которого нет.

— Ну, бегают у тебя там неандертальцы, любви еще не знающие, с космическими пришельцами сталкиваются, которым любовь уже до лампочки, атавизмом считается. Потом вдруг Он и Она — с разных сторон — любовью воспылали... Ну а «третий лишний», землянин несчастный, через ревность тоже к любви

пришел... Говорю же: схема голая! Накручено, наворочено, а к чему? Зачем, главное?... Из земли, из крови, из души и плоти любовь должна расти, а у тебя... — он махнул рукой, не находя слов.

«Из земли, из крови...» Красиво выразаться и я умею. Много нас, умеющих красиво рассуждать. Схлестнулся бы я сейчас с тобой, а толку? Ведь по большому счету ты прав: все это схема, схема. Бездарная придумка!

Я пью чай, мне тошно, но улыбаюсь через силу. Гляжу на розовую пупырку Афониного пупа. Такой пупок у детей обычно, на выкате. А Афоня и есть пятидесятилетний ребенок, капризное чадо с седой щетиной на крупной бритой голове. Гляжу на этот пуп, и видится он мне розовой кнопкой — вот и хочется с силой вдавить ее. Кажется, тогда «программа» Афони переключится.

Толстяку-режиссеру показалось, видать, что я, того и гляди, плесну горячим чаем в его пузо. В глазах обозначилась тревога, подсиропить решил:

— А вот «Ванюша» у тебя отличная вещь! Этот спектакль, гадам буду, нас с тобой переживет. Славно мы поработали!

Это «мы» он, впрочем, произносит так, что следует понимать: без меня, дескать, без режиссера даровитого, спектакля по твоей пьеске и не было бы вовсе.

И попробуй разозлишь на этого Пантагрюэля, хотя он практически в лоб объясняет мне, что я посредственность! Горько это, но — справедливо. Так что лучше не возмущаться и не заноситься, а прислушаться к чьим-то умным словам да тем и утешить душу: даже посредственность может написать одну хорошую книгу — о своей жизни.

С чего только начать?

Так ведь начал уже — выхватил наугад из недавнего. Отсюда и побреду, благословясь...

Подбил меня писать пьесу предшественник Афони Сергей Доводкин, реликтовый интеллигент, с которым к той поре конфликтовала почти вся труппа юношеского театра под идейным предводительством тщетно молодящейся завлитши, воронено-патлатой и пламенной иудейки с чисто русской фамилией. Конфликт был отнюдь не на национальной почве, просто труппа дружно решила, что главный режиссер — посредственность (грех не столь уж великий) и не любит актеров (совсем уж непростительный грех). Труппа, науськанная завлитшей, звала и ждала в главрежи Афоню, подвизавшегося тогда в народном театре Дома ученых после скандального ухода из театра драмы. (Верней, его тогда, как говорится, «ушли» — кого-то из видных актеров он по пьянке мордой в стол макнул.)

На счету у Афони было уже несколько громких постановок. А своего главного режиссера, милейшего Сергея Доводкина, труппа звала чуть ли не в глаза Серей, на серость его намекая; и он тоже, может быть, страстно жаждал шмякнуть кого-нибудь мордой в стол, но интеллигентность не позволяла. Потому и сделал ставку на меня:

— Напиши, Костя, для нас добрую поэтическую сказку. Я поставлю, будет успех, страсти улягутся...

Ну а я-то в то время еще считал себя если не исключительным поэтом, то исключительно поэтом, без подмесов. Заниматься драматургией у меня и мысли не возникало. Но слишком уж убедительны были горькие глаза Доводкина. Вот и написал «Ванюшу» — «сказку для детей от восьми до восьмидесяти». (Опять кого-то цитирую.) Однако стихам в этой сказке не очень-то изменял — пожалуй, и впрямь поэтической получилась сказка: веселая, волшебства и страхов много, и любовь, любовь, любовь...

Сергей прочитал — обрадовался, на худсовет меня приволок:

— Вот вам новый автор! Наш, местный!

Господи, это словно клеймо: «местный». Три книжки в Москве, куча журнальных публикаций там же, зарубежные даже есть, а все — «местный». Козел мне представляется с золотыми глупыми глазами: «Ме... ме... местный!...»

А Доводкин произнес это слово с искренней радостью, с гордостью даже — меня аж передернуло. И воронено-патлатую завлитшу от звучания этого слова изрядно покривило, хотя амброй благоуханной вызревало в ней предвкушение моего провала. Для нее я был «агентом Доводкина», «Сериным человеком», пьесу мою она уже успела не только прочитать, но и настроиться категорически против нее, даже зарядить этим настроением большинство труппы.

Со многими ребятами из этого театра я и раньше был знаком, кое с кем доводилось даже выпивать, но с пьесой своей я пришел к ним «Сериным человеком», и они почти не слушали мою читку, шушукались и хихикали, а потом отмолчались почти дружно. Зато завлитша «мнение общее» выразила: скука смертная!

Из театра я выскочил как ошпаренный.

Через неделю вылетел из него и Сережа Доводкин, в другой город подался радости творчества искать.

А в юношеский театр поступью триумфатора вошел Афоня.

Вот сейчас подумалось мне, что он жутко похож на Нерона. (А может, в прошлой жизни он Нероном и был?) Однако ни в коей мере не хочу опорочить Афоню этим сравнением: не вольны мы выбирать, кем быть, а тем паче — кем были...

С Афоней мы знакомы давненько. Когда-то областной комсомол наградил нас одновременно премиями: его — за спектакль, меня — за первую книжку стихов. Я тогда был еще «комсомольского возраста», а Афоня постарше меня на дюжину лет. Пропивали мы свои премии в разных компаниях, однако с тех пор считаемся приятелями. Не раз Афоня (причем по трезвости) говаривал: «В Сибири два настоящих